

Иван Григорьевич Подсвиров

## КАСАТКА

### Глава первая

#### ВЕЧНАЯ ТЕТКА

- Максимыч, ты?

Ее оклик, знакомый мне с детства, с немыслимо давней поры, по-матерински предупредительно, робко прозвучал из-за плетня. Я остановился среди переулка и увидел Касатку в окружении востроносых от дремы и ознобного холодка ярко-желтых шапок подсолнуха. Утро занималось ясное, прохладное, за высоким Чичикиным курганом, с утоптанной дорожкой на круглую макушку, небо рдело малиновой каймой, кидало в огород горсти лучей еще невидимого солнца и зажигало росу.

Горошинами скатывалась она с широких, за ночь посвежевших листьев и брызгала в лицо Касатки, не очень осторожно пробиравшейся к плетню.

- А я вижу: какой-то человек! Шляпа колыхается, - приблизившись, с возбуждением говорила она и стеснительно улыбалась. - Сперва померещилось: наш председатель Матюшка. Ей-бо, правда. - Касатка подхихкнула в кулак. - Он у нас тоже модник, в фетровую шляпу нарядится и ходит. Потом пригляделась: не-е, не Матюшка. Вроде как Максима сынок. С попутной небось встал?

- С попутной.

- Матер с отцом до смерти обрадуются. Вчера вспоминали о тебе. Надолго к нам?

- Может быть, с недельку побуду.

- А больше нельзя?

- Служба. Нельзя.

- Ох, канитель! У всех служба. Вертимся как угорелые... Ну, голодный же и хлопчет, а как наелся, то и успокоился, сразу на бочок. Я вот тоже, Максимыч, день и ночь служу: утей пичкаю, будь они неладны. Веришь, такие прожорливые - не настачишься им листья обрывать. Давай и давай. И все им, враженьятам, мало. Как в прорву.

Левой рукой она прижимала к груди эмалированную чашку, доверху набитую нежно-зелеными, с бордовыми прожилками листьями красного бурака.

- Перетолку с отрубями, и нехай едят. - Она двинулась вдоль ограды ко двору, приговаривая: - За деревой тебя и не видно. Выйду на чистое, хочь полюбуюсь, какой ты.

Во дворе она деловито поставила чашку возле исчербленной топором коричневой дровосеки, обмахнула подол юбки от росы и прилипших травинки, выпрямилась и непритворно ахнула:

- Глянь-ка! Вылитый дедушка. Ты-то своего дедушку Ивана, царство ему небесное, не застал, а я хорошо помню. Бедовый. Такого ж росточка был, как ты. Маленький, да удаленький. Плечистый, с бородой. А рубаха на нем немаркая, красная, так и горит. Наборным поясом перетянута. Любил казачок наряжаться. Бывало, идет по площади, каблуками стук да стук - как молоденький. Я на что пичужка перед ним, а тоже на него заглядалась.

Раскрою рот и стою глазею на сатиновую рубаху. Ей - право. Совестно станет, отвернусь и тут тебе как мак покраснею. Чудная. И ты в дедушку удался, не в отца. Максим против вас хлипкий и в красных рубахах не ходил: война, а там еще напасти. Не до жиру, быть бы живу.

- Она сощурилась и внезапно перескочила на другое: - Туфли у тебя востроносые. В подъемах не жмут?

- Не жмут.

- Я прямо, Максимыч, в толк не возьму, какие у вас ноги. Как они в эту обувку влезают... Небось усохли.

По земле не ходите, все автобусом да на легковичках.

А я тут - пешедралом, где босиком, а где в этих выступцах. - Она оторвала правую ногу от земли, вытянула носок и показала большой незашнурованный, свободно державшийся ботинок. - По мне. Удобные, и пальцам отдых.

- Мое, Максимыч, отошло, - сказала она без тени сожаления. - Не перед кем чепуриться.

Было весело слушать ее несколько грубоватый, с мужским баском голос, ее слова, выговариваемые обстоятельно, неторопливо. Интонация и выговор с нажимом на "а", с глуховатым, чисто кубанским "г" делали ее речь выразительной, и я думал: вот близкий, родной мне человек и такой останется для меня навсегда, пока я живу на этой земле. Трогательно было сознавать, что и я когда-то говорил примерно так же и, как она, употреблял местные выражения, в которые удивительно вкраплены не то русские, не то украинские слова, а скорее - то и другое вместе, в едином сплаве... Позже я стеснялся этих слов и этих выражений - они вызвали едкие насмешки окружающих. В ту пору я был молод, наивен и даже не подозревал, что своей стеснительностью оскорбляю память предков, для которых не было ничего святее и дороже этого, веками нажитого в крестьянской работе и праведных сечах языка, Грешно стесняться родной матери - она дала нам дыхание и вспоила своей грудью; не меньший грех стесняться и родного языка, на котором говорили и мать, и дед, и прабабушка, и многие, многие кровные близкие, о ком давным-давно стерлось всякое упоминание и кого уже никто не вспомнит, никак не назовет, но они-то были. Без них жили бы мы, научились бы правильно, по-нашему изъясняться? Жаль, что я с некоторым опозданием постиг эту истину.

С радостью слушал я Касатку, но и с горечью ловил себя на том, что мне все-таки кое-что удалось вытравить в себе; иные ее слова звучали для меня загадкой и как бы открывались заново - до того прочно забылись они, затерялись в памяти, С Касаткой мы виделись давно, За учеьем, работой все недосуг было подумать о ней, заглянуть в ее побеленную хату, с глухой стороны поддетую ольховой подпоркой. И сегодня я оказался случайно вблизи Чичикина кургана: шел мимо. Светало, повсюду в огородах нетронуто горели красные маки. Дымчато-сиреневый, фиолетовый, вперемежку с белым, цветущий горох лез на плетни и дразнил взгляд молоденькими, светло-зелеными стручками. Красота летнего хутора завораживала; огибая огороды, я не помнил, по каким улицам петлял, и наконец забрался в ее крайний, с пятью хатами переулоч.

Тут она и окликнула меня.

Еще из-за плетня в одно мгновение я разглядел ее всю. Была она, как и много лет назад, широка в кости и дородна телом; большие руки ее все время двигались и не знали покоя; носила она темную, с бесчисленными оборками юбку, спереди прикрытую ситцевым запаном, русые волосы убирала и затягивала в тугую куделю и покрывала их белой, от солнца, косынкой с голубыми крапинками вроссыпь, которые шли к ее круглому лицу, особенно к синим глазам, - словом, в ней угадывалась русского склада женщина, привыкшая одна хлопотать и в поле, и дома, одна отвечать за все на свете.

Ходила она по-мужски, вперевалку. Много воды утекло, а я не нашел в ней сколько-нибудь значительных перемен: тот же облик и голос, та лее манера слегка подкашливать в кулак и с выжиданием, бесхитростно приглядываться к собеседнику, будто спрашивая: "А что ты за человек? На меня не серчаешь?"

В моем представлении она была такой же, какой и сейчас стояла передо мною в своих ботинках на босу ногу: пожилой теткой. Время, однажды изменив по своей прихоти ее фигуру и лик, казалось, навсегда остановилось для Касатки. Сколько ей было лет: шестьдесят, семьдесят?.., семьдесят пять или более? Это было неважно. Я совершенно точно, с ранних своих дней затвердил в себе несколько странное, до сих пор необъяснимое ощущение: она пожилая, вечная тетка. По старой привычке думать о ней именно так, меня и сейчас взяло сомнение: а была ли Касатка когда-нибудь молодою?

Смущали, однако, и наводили на мысль о пережитой ею молодости синие глаза, в них было столько непоправимой, ничем не омраченной ясности, столько доброты, лукавства и

постоянного, неодолимого ожидания чего-то удивительно хорошего, что даже не верилось, как это они удержали в себе этот блеск, живость, навек не замутились слезами.

Пока мы говорили, взяла нас в полон ватага утей.

С криканьем они требовали посторониться, набрасывались на чашку, оттесняя и остервенело щипая друг дружку.

- Видал, Максимыч, какие! Они мне, враги, всю голову прогрызли. Чтоб они лопнули. Этой осенью, жива буду, всем головы оттяпаю, порежу их.

Осточертели.

У меня вон руки пухнут бесперечь таскать им чашки.

Максимыч, ступай в хату, карточки посмотри, а я тут с горлохватами повоюю. Я живо прискочу.

Меня тянуло домой, и я заколебался:

- Может, в другой раз. Пойду я.

- Ты что, Максимыч? - с обидой глянула на меня Касатка. - Уважь тетку. Вон сколько не видалась! Грех.

Правда что, мы как не родные... Не хочешь в хату - посиди на дровосеке. Я на ней сама в праздник сяду, юбку распустю и важничаю. Сидай! Да гляди, чтоб не перевернулась. Я раз так с ней завалилась - до се затылок ломит.

Тем временем она подхватила чашку и понеслась в сени готовить мешанину. Ути во главе со старым селезнем закачались, бегом затопали за Касаткой. А я сел на дровосеку, с удовольствием протянул ноги.

Двор мне знаком сызмала: пустой и покатый. В ливни вода в нем не застаивается, вся сбегает на улицу.

Ворота с почерневшими досками покосились; четырехгранный коренной столб, поставленный еще мужем Касатки, с натугой держал их на себе. Двор опоясывала изгородь с подгнившими ольховыми столбиками. Узкие планки в ней покоробились, иные высыпались, так что везде зияли пустоты. Возле закуток, тоже покосившихся, в которых ночевали поросята, ути и куры, лежала гора свежеструганных шелевок и березовых хлыстов: Касатка, наверное, готовилась разориться на новый забор.

Как видно, двор был запущен потому, что до него пока не доходили руки. Касатка возилась с хатой, подвела серой глиною фундамент, вставила новые рамы. Вместо соломенной крыши, густо поточенной воробьиными гнездами, появилась крыша под дранью, в глухой стене - окно с голубыми ставнями. С огорода Касатка прилепила к хате довольно обширную пристройку, откуда тоже смотрелись окна. И труба над коньком весело белела, еще не задымленная копотью.

Под кровлею хаты лепились ласточкины гнезда. Неугомонные сизые летуны, лоя толкущихся в воздухе насекомых, чиркали высоко над землею - к погоде, беспечно вились у карниза. Ласточки, по-марушански - касатки, обычно возвращаются в хутор в теплые весенние дни, когда снег вытает в балках и ручьями сбежит в реку, а на выгревах зелеными шильцами проклонется первая травка. Невесть откуда с хлопотливым щебетом налетят ласточки и давай носить в клювах комочки липкой грязи из пруда у маслобойни, пластами приклеивать ее к шероховатым стенам конюшен, хат, сараев. Любят они прибиваться к жилью, и за эту привязанность человек платит им благодарностью, почитает за долг оберегать ласточек; ходит в народе поверье: они приносят счастье.

У Касатки ласточки селились ежегодно, вычищали и поправляли надежно сохранившиеся гнезда, лепили новые взамен испорченных, выводили птенцов.

Что-то их постоянно влекло к ее хате. Может быть, горьковатый кизячный дым, близость густого вишенника, обилие мошкары в канаве. Или сама хозяйка постоянством своего нехитрого наряда и неизменчивостью добродушного, с баском, голоса напоминала птицам о прежнем их гнездовье. Есть тайны, неподвластные разгадкам.

Муж у нее погиб в Германии, под Берлином. И с той поры, вспоминается, люди и прозвали

тетку Касаткой, имея в виду ее хлопотливость, истовую верность родному очагу, необидчивую, добрую душу. Ловко приклеилось прозвище, заменило фамилию, имя и отчество. Я уж и не помнил, вернее сказать, никогда не знал, как ее по-настоящему звали. Смутно мелькало: Ефросиньей Ивановной или Евпраксией Илларионовной, что-то близкое к этим сочетаниям. Вообще-то можно справиться в Совете, по метрической книге; наконец, у отца мимоходом, как бы невзначай спросить. Но если поразмыслить: зачем?

Ей это все равно. Большая часть жизни прошла, все привыкли ее звать Касаткой, слух на это слово чутко настроен, и что толку ворошить старое в попытке отыскать утраченное имя. Оживить его нельзя, оно умерло. Важнее то, что она живет на окраине в своей хате, здорова, не искалечилась и не потеряла способности трудиться, что ее руки в постоянном движении.

Ласточки селились у нее каждую весну, но счастье у Касатки было редким гостем, кружило оно по другим окольным путям.

В войну она с бабами вязала снопы, и ясным днем вдруг угодила в ее хату сброшенная с самолета зажигательная бомба. Стены рухнули, сухая, как порох, крыша взялась огнем и сгорела дотла. Одна печь выстояла и держалась на пепелище ровно, будто памятник. Вволю наревевшись, Касатка пришла в себя, вынула из загнетки еще не остывший чугунок, покликнула сына Колю, который до этого шнырял по Касауту с сачком в поисках форели, - и они, молча, без лишних слов присели на разбросанные кирпичи хлебать деревянными ложками борщ.

Вокруг той уцелевшей печи, по фундаменту, и плела Касатка турлучные, из гибкой вербы стены. От зари до зари, а случалось, и ночью, при месячном свете, лепила себе жилье, на скорую руку лепила, чтобы к зиме, к холодам успеть.

После войны обжилась, успокоилась - и вдруг опять пожар! В тот день они с сыном сгребали сено неподалеку от хутора, у Волчьих ворот - двух каменистых курганов, между которыми вьется дорога на Пятилеткин стан. Копны вершили на бегу, лишь бы валки убрать: с гор мглисто-сизыми

гроздами надвигались тучи, сверкая белыми молниями и погромыхая громом. В верховьях реки тяжело зашумела свинцовая вода, подул холодным ветром, на землю легла тень, и все померкло вокруг, точно наступило солнечное затмение, изредка оттесняемое короткими вспышками. По всему угадывалось: собирается ливень, а то и град... Касатка, подзадоривая Колю, выючила на себя навильни и, стараясь не глядеть на небо, неслась под гору к копнам, вскидывала наверх, раскладывала сено и, не переводя дыхания, летела назад, в гору, к свернутым валкам. Вдруг она споткнулась и осела наземь: под черными тучами, в сереющем мраке предливневого затишья багровое пламя озарило ее хату... Придавленная навильнем, Касатка на миг задохнулась от ужаса, стихла и - со страшной, нечеловеческой силой вскинулась на ноги, рванулась по склону вдогонку за Колей. На пожар принеслась с растрепанным навильнем...

Хату спалила Дина: играла горячими углями, высыпавшимися из печи. Когда подросла пожарная машина, ливень затушил, забил белым льдом остатки огня.

Касатка, непокрытая, с прилипшими к щекам волосами, бегала в хлещущих струях, под градом, и немо всплескивала руками. Казалось, она совсем не ощущала на себе ударов.

А после долго ходила вся синяя, в кровоподтеках...

Иная вдова иссохла бы, пока отстроила себе новую хату, а Касатка с виду оставалась все той же полной, неунывающей, без конца хлопочущей, озабоченной теткой. Ей советовали переменить двор либо, на крайний случай, поставить хату на другом конце огорода, в стороне от пепелища. Намекали не нечистое место: из-за него, дескать, и приключаются все ее беды, но она не внимала советам и с упорством, достойным удивления, хранила верность старому месту. Снова избавилась от горелого, очистила фундамент и возвела на нем свое жилье, возвела с верой, что дальше будет лучше, дальше уже не может быть плохого: всего, кажется, успела испить из той чаши... С этой верой она и проводила Колю в армию.

Не прошло и года, как из Венгрии пришло известие о гибели сына, твердо исполнившего солдатский долг.

Вплоть до нашего с Диной выпускного вечера Касатка носила черный платок. На

выпускной пришла в цветастой ситцевой косынке, выпила рюмку вина - и с той поры больше не носила черного.

Я сидел на дровосеке, прислушивался к щебетанию ласточек и гадал: для чего возвела Касатка пристройку, кто живет в ней за кисейными кружевными занавесками, сквозь которые желтеют на подоконниках горшки с геранью? Дина? Конечно, она уже вышла замуж, нарожала Касатке уйму внуков, по субботам стирает на речке белье, а в праздники выходит с мужем под ручку на площадь пощелкать семечки либо потолкаться в пестрой базарной толпе. От этих предположений сделалось грустно.

В отрочестве благодаря Дине я испытал неясные, но сильные желания первой любви. Стало жаль невозвратно мелькнувших дней, сделалось нехорошо при мысли, что вот они, Касатка и Дина, живут здесь, вдали от меня, своей и, в сущности, чужой для меня жизнью, чужой до того, что я никогда не заботился о них, никогда не тревожился в душе: как они там? А между тем Касатка сейчас выплывет из сеней, накормит ораву своих ненасытных уток и, как родного, уведет меня в хату.

- ... Так оно и происходит. Касатка показывается на пороге, неся чашку и горстями расшвыривая корм. В ее жестах - ничего лишнего, во взгляде - уверенность в том, что дело ее важное, насущное, как хлеб. Она будто священнодействует: в лице - спокойная строгость. Кивая на бестолково

толкущихся у ног утей, Касатка добродушно поругивается:

- Навязались на мою шею - не отвяжешься. Гляди, как, враженията, лопают! В обед опять им неси. Так и бегаю с утра до вечера, присесть некогда.

Затем она ополаскивает чашку водой, вешает ее сушить на кол, вытирает полотенцем руки и приглашает меня в хату:

- Хоть погляди на мои хоромы. Где ты такие увидишь? У меня, Максимыч, палаты, как у барыни. Ейбо! - Она кашляет в кулак и тихо смеется, пропуская меня в сени.

В сенях темно, пахнет сухим глиняным полом. На стене, на деревянных рогульках, похожих на оленьи рога, подвешены пучки красной ссохшейся калины. Когда-то и я с мальчишками осенью, лишь с деревьев опадали листья, ломал огненно-яркую калину, навешивал на коромысло тяжелые пучки и с великой гордостью, с сознанием исполненного долга нес их домой. Нес берегом обмелевшей реки, синей в глубоких заводях, слепяще серебристой на перекатах. Давно это было. Так давно, что и не верится: было ли на самом деле или только снится, только встает зыбким видением перед глазами?

Касатка проводит меня в переднюю комнату.

- Сидай, Максимыч, сидай. - Она подвигает грубо сколоченную табуретку, обмахивает ее чистым полотенцем. - В ногах правды нет.

На видном месте, между двумя окнами, стоит знакомый мне огромный темно-вишневого цвета сундук с углами, окованными красноватой медью, и с выпуклой, как футляр швейной машинки, крышкой. Над ним в деревянных рамках под стеклом, рядом с фотографией Дины, - портреты мужа и сына хозяйки.

Увеличенные и подрисованные местным фотографом, они как-то подавляют, гасят улыбку Дины непреклонной суровостью сжатых губ, пронизательным выражением глаз. От их прямо устремленных взоров делается отчего-то не по себе, возникает чувство какой-то вины перед Касаткой.

Пока я осваиваюсь с обстановкой, привыкаю к полумраку, она проворно снует от печи к столу, гремит заслонкою, выставляет на лавку чугунок и кастрюли. На расстеленной клеенке появляются тарелки с супом и грушевым взваром, махотка кислого молока, свежие, только что с грядки, огурцы, вишневое варенье в блюде, нарезанный крупно хлеб.

- Сбегать к Жорке, что ль?

- Зачем?

- Ты же гость дорогой. За сколько лет зашел... Когда не спрошу у отца - был, говорит, Федя, да сплыл. Никак тебя не застаю. Кабы знать, так принесла бы чего покрепше, а то - как снег на голову. Сбегаю, - тут же направляется она к двери. - Он у меня на май гостевал.

Небось не обедняет от одной бутылки.

Но я удерживаю ее столь же решительным возражением, говоря, что не к спеху и что сегодня мне еще нужно увидаться с председателем колхоза.

- Обождет. Никуда не денется твой Матюшка.

- Нельзя, мы условились о встрече. Работа есть работа.

- Какая работа! - недоумевают Касатка. - Ты же в гостях. К отцу, матери приехал. Вот тебе на: работа!

- Я в командировке. Срочно нужно взять материал.

Сощурив синие глаза, Касатка возвращается к столу, трогает меня за плечо и с ожиданием чего-то важного для себя интересуется:

- Что за материал берешь, Максимыч? Случаем, не картошку? Так у меня возьми. Задаром отдам, ей-бо!

Купца хорошего не отыщу - скопом продать. Целая тонна залежалась в погребе, и, веришь, вся как на подбор: крупная, гладенькая. Ни одного росточка не пустила.

Пропадает. Уже молодую начинают жарить.

Приходится объяснять Касатке, зачем я прибыл в Марушанку, что мне требуется взять у председателя; ее интерес к моему "материалу" ослабевает, сменяется разочарованием.

- Беда, Максимыч! Надо б еще с осени ее сбыть - не доперла. Да и, как на грех, с ног тогда свалилась.

Радикулит замучил. Не-е, сбегая к Жорке, - вспоминает она прежнее свое намерение. - Кусок в горле застрянет.

Стоит немалых усилий убедить ее, что я вполне доволен угощением, благодарен за внимание, за хлопоты обо мне и что, хотя она и достанет бутылку, все равно это лишнее, и вовсе не оттого, что я предпочитаю вино подороже и "гребую" ракой, а потому, что неприлично появляться в конторе

выпивши. Не тот выйдет разговор, Последний довод убеждает Касатку, она тихонько присаживается на край лавки.

- Твоя правда, Максимыч. В другой так в другой раз. Небось еще свидимся... Ты ешь, ешь, не равняйся с бабкой. Я уже и вкуса еды не чувствую. Мне все одно, что хлебать, абы теплое.

Из чувства солидарности, "за компанию", она отливает в кружку немного взвару и, с любовью, по-матерински поглядывая из-под низко опущенной на лоб косынки, отхлебывает маленькими глотками. Ей доставляет удовольствие сидеть вот так за столом - вдвоем, в полутьме, с незажженной под потолком электрической лампочкой.

Сидеть и не спеша, без опаски, что кто-то нам помешает, завтракать. Несколько минут мы едим молча, будто разом выговорились и не знаем, о чем больше разговаривать. Но меня давно подмывает спросить о Дине: где она, что с нею, вышла ли замуж? На стене мерцает ее фотография: Дина в белом платье выпускницы стоит одна у порога нашей школы, с букетом сирени в руках и чему-то загадочно, с робкой надеждой улыбается.

Классами и поодиночке мы все снимались тогда у школьной вывески. Теперь мы уже другие, и лишь фотографии, наперекор времени, хранят нас такими, какими мы были много лет назад. Снимки говорят нам о прошлом и, к сожалению, - ничего о настоящем, ни единого намека нет в них о нем.

Что же с Диной? Трудно сказать почему, но я тешу себя надеждой: вот всколыхнется штора над дверью в пристройку и появится Дина - и скажет просто, как в юности: "Здравствуй! Ты пришел ко мне?" Ожидание этого мига необыкновенно волнует меня, но время бежит, на подоконнике стучит, вздрагивает будильник - и ничего такого не происходит. Доливая взвар, Касатка нарушает молчание:

- Ну, ответь, Максимыч: умею я настилать полы чи не умею? Ни одной трещины...

Пол настелен с любовью: ни сучка ни задоринки. Доска к доске пригнаны плотно, будто спаяны, линии едва различимы - чистая работа!

Да, она гордится недаром. Светло-коричневый пол у нее без изъяна, гладко блестит из сумрака. Вообще она научилась мастеровой работе. Все эти годы после войны то и дело

вносила изменения в планы хаты, пристраивала, чинила, подмазывала, перекрывала и настилала - и, что и говорить, немалого добилась. Даже больше, чем иной мужчина. Что же касается женщин, то не каждая отважилась бы соперничать с Касаткой в этом искусстве. И я, ничуть не кривя душой, отвечаю на ее вопрос:

- Отличная, тетя, работа. Вы настоящая плотничиха.

- А ты думал! - Она с удовлетворением подхихикивает в кулак, разжимает пальцы и принимается теревить уголки косынки. При этом глаза ее светятся молодым задором. - Я, Максимыч, на все руки мастерица. Кабы не старость, на монтера бы выучилась. А то как лампочка потухнет - обувай выступцы да Жорку, соседа, кличь.

Темная, в пробках не разбираюсь.

Поблагодарив Касатку, я встаю, жду, что вот-вот она обмолвится о Дине, но ожидания мои напрасны, и, оказавшись у порога, я намеренно придаю голосу обыденное выражение:

- Дина не с вами?

- Дина? Не-е, не со мной. Замужем, - задумавшись, с неохотой роняет Касатка. - В Калмыкии, в Элисте...

- И давно там?

Она оставляет мой вопрос без ответа, медлит и, собравшись с мыслями, рассказывает:

- Думала я, выйдет Дина замуж, в той комнате поселится, - она показала на пристройку. - Да не по-моему вышло... Перетянул муж ее в Калмыкию...

Ездила я к ним. Веришь, Максимыч, гудит кругом, ветрюган такой стружит - аж держись! Тьма, и песок на зубах хрумтит. Побывала я у них с недельку, наглotalась песку и думаю: не-е, в Элисте хорошо, а дома лучше. Надо обратно драпать, а то закружит совсем. Правда что, воротисься круженой овцой.

- Муж у Дины хороший?

- Водопроводы справляет. Ну а как же, хороший, грех обижаться. Он, Максимыч, такой оборотистый туляк, из ничего копейку выкует. Правда, бывает выпимши.

Но придет пьяненький - ни стуку, ни гроку, на цыпочках в кладовку шмыгнет, плюх на раскладушку - и захрапел. Другой, знаешь, выпьет на алтын, а задается на целковый, буянит, правоту жинке доказует, а этот - боже тебя упаси. Чин чином, ладони под щеку, и готов молодец. Хороший, Максимыч. Хоть бы не сглазить. Бедовый... Да нехай живут. Это мы не пожилы: то война, то сатана...

- Дети у них есть?

- Хлопчик и девочка. Есть, куда ж без деток. - И, выходя в темноту сеней, Касатка прибавляет: - Кабы Максим не доводился мне двоюродным, гляди б, за тебя ее выдали. Тут бы жили, при стариках. Муж Дины, жалко, не марушанский, чужой. Пьет. - Распахнув двери во двор, она сжимает кулак, склоняется и тихо смеется в него. - Ты, Максимыч, не обижайся. Это я пошутила, чепуху буровлю. Типун мне на язык. Ты теперь вон какой! С председателями знаешься. Не зря люди говорят: школа дает нажиток. Кто не ленился, учился, тот и в дамках очутился.

Во дворе Касатка всплескивает руками, с оханьем и причитаньями подбирает на ходу жидкую хворостину и убегает в огород. Оттуда доносится ее сердитый голос:

- Дармоеды! Кыш, кыш! Вот я вас!

Стремглав сквозь щели в ограде забегают во двор ути, влетают куры, ракетой несется, путаясь в картофельной ботве, поросенок. Поднимается шум, визг, кудахтанье, беспорядочное хлопанье крыльев. Свистит, жикает в воздухе хворостина. Птицы устремляются на улицу. Касатка с весьма решительным видом, с поднятой в руке хворостиною выносятся из-за подсолнухов и скоро появляется возле меня.

- Уморят, враги! Всю завязь исклевали, пока мы завтракали. Чуть зазеваешься - и беда. Во какая жизнь у бабки, Максимыч!

Я снова благодарю ее и собираюсь откланяться под предлогом того, что меня ожидает председатель.

- Да побудь еще, Максимыч. Побудь. Когда больше наведаешься? - удерживает меня Касатка. - И куда вы торопитесь? На мой огород полюбуйся, потом ступай.

Идем в огород. Он у нее ухожен, празднично зелен.

Солнце уже греет всю, роса спала. Чисто желтеют подсолнухи, пунцово горят, качая распутившимися махрами, маки. Картошка занялась сиренево-белым цветением, выкинула вверх, доверчиво распустила сережки. Весело пробиваются, мигают сквозь лопушистые листья желтые всплески огуречной завязи, У Чичикина кургана, на валу, которым заканчивается огород, вишенник все так же густ и зелен, но я обращаю внимание на ряд старых вишен, когда-то, еще в пору коллективизации, посаженных мужем Касатки, Они почему-то оказались за межою, на усадьбе Егора Нестеренко.

- Дальше не пойдем, - останавливается Касатка. - Чужую картошку потопчем, - И долго, напряженно смотрит на вишни.

Только сейчас я вполне замечаю, что пай ее уменьшился вдвое, ужаснулся шагреновой кожей. Добрую половину его, с деревьями, прирезали соседу, потому что Касатка очутилась одна, на пенсии, и лишилась права на весь огород, на прежние двадцать пять соток земли. Пожалуй, все правильно. Ей впору и это прополоть.

Но жалкий вид являли собою отбежавшие к Егору вишни. Они заблудились среди вплотную подступившей к ним картошки и, просеивая сквозь редкие листья свет, вроде бы опасались бросать на нее излишне прохладную тень, чтобы ненароком не заглушить жирной, до пояса вымахавшей ботвы. Растерянно жались одна к другой, совсем не ведая, куда им лучше приткнуться и что с ними будет дальше. Верхушки у них усохли либо едва были покрыты листьями, но снизу побеленные известью стволы немного скрадывали впечатление наступившей старости, осветляли ряд, а угольно-черные и довольно выносливые ветки, рясно облепленные забуревшей завязью, говорили о цепкой борьбе за жизнь.

- Вишь, Максимыч, как тетку жмут к Чичикину кургану, - легонько толкнув меня локтем, усмеяется Касатка. - Спровадить меня задумали. - Черты ее круглого лица приобретают волевое, решительное выражение. - Не выйдет. Я тоже не лыком шитая.

- Неужели Егор теснит, добивается лишних соток?

- Не-е, Жора сосед уступчивый, - думая о чем-то своем, говорит Касатка.

- Построился на этом плане, ему по закону отошло. А вишни за собой, как утей, не покличешь, не приманишь на свою межу. Это я так... сболтнула, - поправляется она и уже веселее глядит на меня, потом оборачивается лицом к кургану. - Глянь, какой молодец стоит! Кубанку ему нахлобучь – форменный казак выйдет, - И тихо смеется неожиданному для самой сравнению, однако недолго, тут же стеснительно прикрывает рот ладонью, извиняется:

- Ты уж, Максимыч, не серчай, дурного не подумай.

Бабка живет на все сто с гаком. В праздник выйду за двор, рассядусь, юбки распушу на завалинке, ручки сложу, как барыня, и день-деньской смотрю на курган. Он не простой, Максимыч. Под ним схоронены наши богатыри... которые с турками мерились силой. Для нас отстояли эту земельку. Не-е. Мне тут с Чичикой не скучно.

Она провожает меня до калитки, приговаривая:

- Ну, не поминай лихом. Иди к нашему председателю. Он тебе, Максимыч, мно-ого кой-чего напойет. А ты поддакивай, слухать слухай, да свое себе на ус мотай.

Понял? Они у нас такие, в шляпах. Сразу и не доднешь, как облапошат... Заходи, не забывай тетку.

Я обещаю зайти. Ласточки, обрадованные теплым днем, снуют, мельтешат под кровлею хаты. Одна, самая бойкая и резвая, опрометью срывается с гнезда, молнией проносится над землей, делает разворот, снижается и, внезапно окунувшись в налитую в корыто воду, режет ее острыми, как лезвие косы, крыльями, мелко встряхивается на лету, опять разгоняется и плещется.

Накупавшись, она описывает круг над Касаткой и плавно снижается прямо на стену, цепляется за нее коготками, встряхивает, приводит в порядок свои распушенные перья,



зыркая на нас черной бусинкой глаза.

- Во модница! Искупалась и теперь чепурится. Она ко мне, Максимыч, третий год прилетает.

Касатка выплывает на улицу и притворяет за собою хворостяную калитку.

Снова вспоминает прежнее, извиняется:

- Ты и меня слухай, а думай свое. Мало чего я сдуру намелю. Ступай, ступай к Матюшке, скажи: мол, одна бабка ухватила за полу и не отпускает. Насилу, мол, от сатаны отвязался. - Она тихо и, мне кажется, грустно смеется. - Все ему расскажи, он бедовый, жалиться грех. У нас и похуже были.

- Людей не обижает?

- Всем не угодишь...

Я ухожу, Касатка прислоняется спиною к калитке и зорко смотрит мне вслед из-под косынки. Что-то в моей груди трогательно и нежно сжимается. Надо к ней еще зайти, думаю я.

## Глава вторая

### ИГРЫ НА ПОСТОВОЙ КРУЧЕ

С Босовым мы учились в одном классе, сидели за одною партой. Он слыл у нас тихоней, углубленным в себя, в какие-то свои потайные мысли, все думал о чем-то постороннем, водя пальцем по крышке парты, вздыхал и тоскливо глядел в потолок. Бывало, на уроках его внезапно вызывали и просили ответить на вопрос, он вставал, беспомощно озирался и выходил к доске, долговязый, тощий, с длинными руками и тонким бледным лицом. Мялся и решительно не знал, какой вопрос ему задан. "Опять ты витаешь в облаках, строишь воздушные замки", - говорили ему и отсылали на место. Он садился, смущенный, неловкий и совершенно подавленный. Иногда, рассердившись, учителя предрекали ему незавидное будущее: "Крутить тебе, Босов, хвосты быкам". Потупившись, он молчал и как бы соглашался с окончательным приговором, а мы дружно смеялись.

Может быть, отрешенная мечтательность, замкнутость были следствием его сиротства; он рано потерял мать, рос без ласки, под присмотром Дарьи Кузьминичны, женщины крутой и властной. Одевался он хуже всех, во что попало, сам себе штопал брюки и пришивал пуговицы разных фасонов.

Мать его, Босиха, известная в хуторе "додельница", охотница петь и плясать, скончалась в горячую пору: как раз на выгревах дозревала сильно уродившая колхозная пшеница. Босиха навела зубья у серпа, купила запасной в сельмаге - готовилась жать без промашек, да приключилась беда: ночью со двора увело корову Зорьку. Коекак обувшись, накинула она на плечи фуфайку и, не глядя на тьму, на знобкий, мокрый туман, метнулась на клеверное поле, облетела его вдоль и поперек, сбежала с кручи и стала шнырять по колючей дерезе, по разлившимся, смутно блестящим перекатам.

В то время как она оскальзывалась на камнях, падала в студеную воду и поминутно окликала Зорьку, муж ее Василь, контуженный на войне сержант, не отважился съехать вниз по раскисшей глине, хромал по круче, потрясал над собою костылем и глухо, будто предчувствуя что-то, звал жену воротиться домой. До света Зорька не отыскалась. Но следы ее, обнаруженные на грязной земле, с база вели на Касаут. Между тем утро выдалось пасмурное, серенькое, каких мало затевается в пору поспевающих хлебов; туман, как на грех, не расходился, плотными слоями перетекал над лесом, стлался по воде, обволакивал едва видимое солнце белой набухшей ватой. Горная вода жгла икры и колени, брызги леденили грудь. Чем дальше от хутора вверх по реке, тем русло ее уже, течение бойчее - того

и гляди, собьет с ног и, точно корягу, затянет под обрыв, в яму, в гудящий омут. Островками зачернела ольха, кусты дерезы пошли гуще, свечки взметнулись выше человеческого роста, шершавыми метелками стебали по лицу. Напрямую не продрасться.

Кидалась Босиха с одного берега на другой, осевшим голосом окликала Зорьку. Ни звука в ответ. Шум перекатов стоял в ушах, туман застилал глаза.

Только с грехом пополам миновала Учкурку-отвесные бурые кручи с пущенной поверху дорогой, - припустился, навис, зашелестел по листьям нудный дождик, туман потянулся с гор, залег в ущелье, непроглядно заволок лес. Шла она теперь наугад. И чудилось ей: гдето близко мычит Зорька, кличет ее на помощь. Но странно: сколько она ни шла, до нитки промокшая, исхлестанная жесткими метелками, мычание не приближалось и не отдалялось - стояло, как во сне, на том же расстоянии.

Туман поредел, пробилось солнце, и она увидела перед собою запань с лесопильным заводом, греческое сельцо, растянувшееся в расселине высоких гор, обросших у подножий чернолесьем, на вершинах - золотистыми, в хлопьях тумана, соснами, доступными лишь человеческому взору. Босиха подивилась, как далеко забрела, "до самых греков", куда она не однажды ездила с бабами

на колхозных подводах за досками. Неподалеку от села, на лугу, уныло мокло пестрое стадо, и она ободрилась, подумав, что Зорька могла прибиться к нему.

Однако Зорьки и тут не было, пастух не встречал поблизости чужой коровы. Он предложил ей отдохнуть и обсушиться у костерка, тлевшего под навесом старой кошары, но Босиха, убитая своими мыслями, отказалась и повернула другим путем к Учкурке.

Стало понемногу праймеркать, ее снова понесло на кручу - и вдруг обрушился ливень, накинутый ветром издалека, с грозных седых вершин, которые в ясные дни первозданно сияют вечными ледниками. Пока она соображала, куда спрятаться, а потом летела во весь дух к черневшему над

обрывом балагану, ее искупало водой с ног до головы, иссекло хлестким, обжигающим градом.

Уже в балагане, выкрутив досуха белье и кофточку, она почувствовала сквозь дрожь неприятное покалывание в груди, но мысль о пропавшей корове была сильнее, заставила ее подняться и снова пуститься на поиски. Так мыкалась она во тьме возле хутора, пока внутреннее чутье не подсказало ей вернуться домой и поглядеть, нет ли там Зорьки, не пришла ли она чудом сама на баз.

И как же, говорят, Босиха изумилась, в какой пришла неопиcуемый восторг, когда, открыв калитку, она увидела во дворе свою корову, спокойно перебиравшую нажатую мужем траву! Оказывается, всю ночь и весь день Зорька паслась возле маслобойни, в саду дьячка, а вечером явилась сама с полным выменем. Босиха подоила ее, налила детям и мужу по кружке молока и,

чувствуя недомогание, будто тлел у нее в груди какой-то занудливый уголек, влезла на печь и пригрелась под дерюгой.

Утром с печи она не встала. Ее пекло жаром, она стонала, впадала в забытье, бредила и, протягивая над собою руки, все звала Зорьку, а когда приходила в себя, то спрашивала, не пропала ли опять, выгнали ее в стадо или нет... Василь перепугался, выпросил у бригадира лошадей, чтобы отвезти ее в районную больницу, но Босиха строго-настрого запретила ему и думать о ней, заявив, что она никогда по больницам не лежала, еще девчонкой вылечилась от тифа дома, а простуду одолеть ей просто, выгонит ее разведенным медом и чаем с малиной. Говорят, Матюша ночами не смыкал глаз и все сидел в углу, в ногах у матери, болезненно вздрагивая при малейшем звуке ее голоса. Как-то ей стало легче, она оглядела сына отрезвевшими, чистыми глазами, погладила рукою по головке и слабо улыбнулась, прижалась обветренными губами к его лбу. Впоследствии многие женщины почему-то вспоминали ее разговор с сыном:

- Куда ты, Матюша, положил новый серп?

- На боровок, к вашему.

- Молодец. Ты его береги, не теряй. Вот, выболею, поднимусь, будем с тобой на пару жать пшеничку.

Жать ей больше не довелось. Последние дни доживала Босиха. Василь отвез ее в больницу с тяжелым воспалением легких.

Перед смертью, странно успокоившаяся, бледная как полотно, она велела позвать к себе мужа. Сильно хромя, он вошел в палату, уронил ореховый костыль и чуть не грохнулся на ее постель. Няни вовремя подхватили Василя под мышки, усадили на белую табуретку, дали напиток воды.

До сих пор слово в слово держат женщины в памяти и ее разговор с мужем:

- Помираю, Вася. Не послушалась тебя, носилась по деревне. Сколько в касатских ямах купалась, в прорубь зимой проваливалась - и ничего, сходило... В войну мешки с кукурузой за тридцать километров по снегу со станции волокла, в сыром погребе неделями сидела, и даже насморка не было.

А тут...

- Стною! На куски порублю! - в отчаянии дернулся Василь и поднял голову с заострившимся, как у мертвеца, подбородком, повел по стенам блуждающими глазами.

- Коровку не тронь. Она не виноватая. Это я... я сдуру переполошилась.

Сон мне привиделся до этого плохой, будто увели ее цыгане.

- Не жить ей! Прибью.

Босиха выждала, пока он накричался, выпростала из-под одеяла руку и, жалеючи мужа, дотронулась до небритой щеки, тут же отдернула ее, застеснялась, поглядев на застывших в напряженных позах нянь.

- О детках не забывай, доведи их до ума, - спокойно, с прояснившимся лицом наставляла она мужа, стараясь ничего не забыть и сказать напоследок главное. - Одному тебе, Вася, с хозяйством не управиться. Девять месяцев пройдет - и женись. Вдовушек на хуторе много.

Найди хорошую.

- Ох, Лиза, Лиза... Что ж ты? Об чем толкуешь?

Заживо себя хоронишь!

- Я знаю, что помру. Чувствую. На мне жизнь не кончается. Женись. Мне там будет легче знать, что ты не вдовец. Молодой еще... И деткам будет к кому голову прислонить. Без женской ласки они зачахнут. Женись, Вася. Вот Касатка. Чем она тебе не пара? Посватай ее.

Кабы она согласилась - другой и не надо тебе. Я бы и горя не знала. Я бы радовалась там.

- Об чем мы разговариваем, Лиза? Об чем мы тут разговариваем? - твердил Василь и обеими ладонями тер себе лоб, щеки. - Ты только подумай!

- Я хорошо подумала. Упроси Касатку. Она и хлебаца вам спекет, и постирает, и борща сварит. Не обдурит тебя. Ты же такой доверчивый.

Окрутит какая-нибудь вертихвостка - пропадешь, деток погубишь.

- Она не пойдет, - мрачно, как из подвала, сказал Василь.

Умиравшая, говорят, после его слов тяжело вздохнула, скрестила на груди руки и умолкла, обдумывая последнее замечание мужа, произнесенное с такою откровенною болью и прямою. Долго она молчала, сберегая напоследок дух, чтобы успеть высказаться и ничего не оставить нерешенным, распорядиться по уму.

- Жалко, - проговорила она наконец. - Касатка ни за кого не выйдет. Она Михаила... солдата своего убитого, не обидит. Бери Дарью Остроухову. Была Дарьюшка молодой, любила тебя. Помнишь? Бери ее, все ж таки не холодную колоду на шею повесишь. Любила...

Похоронив жену, Василь Босов на другой же день безжалостно отвел и сдал корову в "Заготконтору", сбыл и телочку от нее, чтобы под корень, вчистую извести ненавистную Зорькину породу. Но заветное желание покойной исполнил в точности: ровно через девять месяцев послал сватов к Дарье, одинокой вековушке, и скоро они сыграли свадьбу, без дружков, без наряжания и каравая, но все же свадьбу, с восковыми и бумажными цветами, с мутными бутылками раки и

обильной, по тем временам, закуской. Омрачил позднего жениха Матюша: гости гуляли, а он прятался в дрезе и в продолжение всего застолья не показался им на глаза, хотя рябая Дарья ради приличия очень порывалась сфотографироваться вместе с новой для нее семьей: с мужем, приемными дочерьми Клавой и Нюрой, с Матюшей. После вызнала Дарья: не принял ее сердцем хлопец, оттого и скитался в дрезе двое суток, пока его не уловил Василь и не привел за руку в дом. Вызнала - и навеки затаила обиду. Дольше и упорнее всех отказывался Матюша называть ее "мамкой", а когда пообвыкся; немного прилачился к Дарье, то это выходило у него плохо, натужно, слово застревало в горле и едва выговаривалось. "Настырный", - жаловалась Дарья соседкам и все круче бралась за упрямого мальчика, доставалось из-за него и мужу.

Матюша невзлюбил дом и, пользуясь всяким предлогом, удирал с ребятами то в лес, то на речку. Но драться и проказничать не любил, вел себя неприметно, тише воды, ниже травы, так что иногда создавалось впечатление, что его вовсе и нет с нами. О Матюше мы вспоминали в последнюю очередь. И кто бы из нас тогда осмелился предсказать долговязому конопатому пареньку с неопределенными склонностями судьбу председателя одного из лучших колхозов в районе, председателя с ученой степенью кандидата сельскохозяйственных наук?

А между тем это случилось. Из тихого Босова развилась неожиданно для всех крепкая, волевая натура колхозного организатора. После института всего три года он побыл в Марушанке главным инженером, но успел выстроить механизированный зерноток, переделал ремонтные мастерские, выписал и установил оборудование для приготовления витаминной муки, наладил машинное доение, в котором уже многие разуверились, и марушане единогласно избрали его председателем. Ни о ком другом они и слышать не хотели. Редкий случай.

Теперь Босов затеивал новое дело: готовился строить крупный животноводческий комплекс, а на отгонных пастбищах, под самыми облаками, начал строить благоустроенные дома для скотников, чабанов и доярок, пробивал туда надежную дорогу по слежавшимся каменным припечкам. Я приехал к нему по заданию редакции краевой газеты - написать очерк об опыте работы, о смелых начинаниях молодого председателя. Меня воодушевляло то немаловажное обстоятельство, что Босова я знал лучше других, поэтому втайне тешил себя надеждой на Удачу.

Так как я порядочно задержался у Касатки, а время не терпело, я не пошел домой и отправился на площадь в контору. Кабинет Босова помещался на втором этаже белокаменного дома правления, с внушительными колоннами у входа. Я поднялся наверх по лестнице, прошел Длинным коридором и попал в приемную. В ней за телефонами и пишущей машинкой сидела молоденькая девушка с ярко-светлыми, навывкате, глазами, со строгим лицом. Она предупредительно встала мне навстречу, качнув юбкой-колоколом, и слегка кивнула в ответ на приветствие.

- Вы из газеты? А Матвей Васильевич уехал.

- Как же так? Мы договаривались встретиться в одиннадцать.

- Он ждал вас точно до одиннадцати. А сейчас, если не ошибаюсь, семь минут двенадцатого. - Девушка вскинула мягкие, слегка подсиненные ресницы и показала мне на часы в деревянной оправе, висевшие на стене. - Вы опоздали. - И, подобрав длинную цветастую, как у цыганки, юбку, извинительно и сдержанно улыбаясь одними губами, села.

- В нашем хуторе и такая английская пунктуальность! - с досадою сказал я.

- Матвей Васильевич любит точность во всем, - с расстановкой произнесла девушка и раскрыла томик стихов Есенина, лежавший у нее на столе.

- Куда же он уехал?

- В горы, на отгонные пастбища. Он просил вас зайти к нему завтра, в девять утра. Ровно в девять, - напомнила она, мечтательно скользя чуть сощуренными глазами по строчкам. - Пожалуйста, не забудьте.

Я вышел из конторы с непроходящим чувством досады на Босова, невольно думая о его секретарше: такая милая, светлая и обходительная. Чья же она? Неужели из наших хуторян?.. И день был солнечный, светлый, с перьями облаков на ясном, точно синькою оплеснутом небе. От акаций, рядами посаженных вдоль асфальтированной дороги, наискось через площадь тянулись длинные тени; мимо пробежали мотоциклы с люльками и грузовики, чаще всего в них сидели люди с граблями и косами, припозднившиеся с выездом на покос.

Хутор наш Марушанка просторный, многолюдный - с широкими улицами и кривыми неухоженными переулками, которые сбегаются к площади. На ней уместилось футбольное поле, по нему с азартом, лихо гоняли полосатый мяч ребяташки, как некогда гонял и я; а за воротами, у штакетной ограды, свободно расхаживали индюки и телята. Площадь - на возвышении, отсюда открывается вид на горы. Синяя вершинами, они полукружьем подступают к хутору, а вблизи, обтекая огороды, среди облепихи, верб и ольхи нет-нет да и блеснет на солнце, взиграет живой серебристой рябью Касаут, несущий свои воды к черкесским аулам, в манящее туманное марево, где катит навстречу ему прозрачную волну Малый Зеленчук - младший брат Кубани. Предки наши, родом из российских глубин, с Чернигова да с Запорожской Сечи, народец вольный и рискованный, когда селились тут по указу царя, высокое место для площади облюбовали недаром: отсюда видно на все четыре стороны.

Меня наполняет чувство простора в душе и беспричинного веселья, когда я оказываюсь на площади и вижу вокруг себя белые дома, яблоневые и вишневые сады, ольховые плетни, потемневшие заборы и возле них лавочки, кое-где даже глиняные, как в старину, завалинки, лошадей, женщин на берегу Касаута, которые без усталости полощут белье и приголубливают его вальками, когда смотрю на просевшие, зеленые от мха углы неумолчно гудящей маслобойни...

Остаток дня я провел на Касауте. Ходил по дерезе, обсыпанной буровато-зелеными тугими ягодами, ложился на грудь и, как в детстве, пробовал, потягивал сквозь зубы, до ломоты в них, прозрачную воду из родничков, пробивающихся наружу из-под камней заглохшего, занесенного

песком ручья-отводка. Повсюду кустиками, а то и латками пер из земли щавель. Кое-где он уже пустил стебли, сочные и на вкус резковато-кислые, и норовил выкинуть бордовые метелочки с семенами. Когда особенно припекло, я искупался в ямочке, оказавшейся мне по грудь, в общем - не глубокой и не мелкой, в самый раз; упругое, крутое течение сносило и почти выбрасывало на тот берег, сплошняком заросший верблюжьими колючками; возвращаться назад босиком было неудобно. Но не это остановило и заставило меня поскорее одеться. Приглядевшись к воде, я увидел на ее поверхности, там, где она была относительно спокойной, сизые пятна, которые тянулись бесконечно, то удлиняясь то сбиваясь у берега в жирные, с фиолетово-радужными блестками, круги. Меня поразили они. Раньше я никогда не видел их на реке. Чистая, как слеза, вода и эти пятна... Откуда они?

Думая о них, я не заметил, как прошел мимо хутора и очутился на Постовой круче. Вид ее отвлек меня от неприятных мыслей. Бугрится она вдоль Касаута, местами осевшая, коряво размытая, изъеденная талою водой либо разьеженная колесами прадедовских бричек, подступает с тяжело нависшими глыбами к белым беспокойным бурунам, прогибается подковами, давая простор реке, разлившейся на множество рукавов, которые часто прячутся в сизой дерезе и в золотистых свечках и сине, весело светятся из них в оправе выбеленных солнцем гольшей. Иной раз Постовая круча так неколебимо и круто вознесется ввысь, что, взойдя на нее, поймешь: иначе ее и не могли назвать наши предки, выставившие здесь неусыпные сторожевые посты. Отсюда удобно было наблюдать за всем, что творилось на той стороне, за Касаутом, упреждая налеты не в меру горячих абреков... В двух километрах от хутора круча вздымается над долиною подобно скале, настораживая непривычный взгляд оспинами желтовато-серых пещер, отороченных по краям неприхотливыми ветками алычи, дикой кислицы и красного шиповника, невесть как прижившихся на твердой глине. Мы гоняли сюда пасти телят. Нас, мальчишек разного калибра, набиралось

довольно много, примерно столько же, сколько было в нашей округе коров. Неизменно был с нами и Матюша. Он блаженствовал вдаль от мачехи и обычно сидел в отдалении ото всех на круче, одетый в старый отцовский кожушок, в грубые, жесткие брюки, сшитые Дарьей из шинельного сукна. На голове у него красовалась пилотка с рубиновой звездочкой, а в руке он держал сплетенную из сыромятного ремня плетку с махрами возле орехового кнутовища. Наседала жара, мы доставали припрятанные в тени бутылки с молоком, выпивали его и шли купаться, часто оставляя Матюшу одного приглядывать сверху за телятами. Он соглашался и терпеливо ждал нас, пока мы нарежемся в воде.

В сумерках, отпустив телят, мы затеивали игры в войну, оглашено носились по круче, забирались в пещеры, прыгали из них в темную глубокую воду и сходились врукопашную на том берегу. Нередко дело доходило до драк.

Матюша тоже играл, но, если было можно, отказывался, отходил в сторону и смотрел издали на долгие потасовки. Мы прощали ему, потому что знали: бегать неудобно в толстых суконных штанах. Они до крови натирали икры ног и коробились на нем ржавой жестью, точно их однажды после стирки прихватило лютым морозом и больше не отпусало.

Ночью игры становились жестокими. Многие из нас помнили войну, видели настоящих, живых фрицев, которые проходили через хутор в ботинках с ребристыми подошвами и в фуражках с изображением белой лилии на околышках - символом недоступного цветка эдельвейса. Они тащили горные пушки и надеялись сорвать эдельвейс на скалах, у вечных ледников, одним броском перемахнуть через перевалы Главного Кавказского хребта и очутиться в Сухуми, понежиться на черноморских пляжах. Для острастки они повесили на площади схваченную в лесу девушку-партизанку. Марушанские ребята, кто был немного старше нас с Матюшей, близко видели из-за плетней и загат, как ясным, солнечным днем альпийские егери накидывали петлю на шею замученной ими девушки, а потом ловили во дворах и в дерезе гусей, с хохотом резали пронзительно визжавших поросят, беспорядочно стреляя в воздух из автоматов...

У многих ребят не вернулись домой отцы или пришли с фронта калеками. Какие же игры, кроме этих, могли удовлетворить плававшее в нашей груди недетское чувство мести?!

Мы играли самозабвенно, всерьез. "Русские", позвякивая отцовскими медалями на груди, выкраденными из сундуков, шли напролом на стойко державшихся "фрицев", нервы у всех обострялись, воображению рисовался настоящий бой - и вдруг открывалась пальба из самопалов, пахло порохом, в ход шли палки, комья сухой глины, камни... Сейчас я удивляюсь не этой свирепости, а больше всего тому, как это мы тогда, по наивной хмельной забывчивости, в пылу отваги никого не убили и даже никому не посекали лицо дробью. Правда, один раз кто-то проломил голову Егору Нестеренко, нынешнему соседу Касатки; игра в тот вечер прекратилась, Егора отвезли намажаре в амбулаторию, там его перевязали и отпустили домой.

Этот урок ничему нас не научил, мы продолжали играть. Однажды весной возле Чичикина кургана остановились табором цыгане. Мы бегали глядеть, как они раздувают горн и вытягивают нагретое добела железо, с какою проворностью заливают оловом прохуdivшиеся чугушки и алюминиевые тарелки. Больше всех нам нравился средних лет, необыкновенно красивой наружности хромой цыган. Белые как сахар зубы, смоляная, плотная борода и такой же вьющийся, спутанный на лбу чуб поразили нас. Он был добр и весел, постоянно что-то напевал вслух, шутил, никогда не отгонял нас от своего рваного шатра и даже позволял раздувать мехи у горна, а самым ловким и смышленным давал тронуть маленьким молотком-подголоском наковальню. С его женою, истинной черноглазой красавицей, наряженной лучше других женщин табора, близко сошлась Касатка. Почти каждый вечер она приносила ей, то картошки, то хлеба, подолгу сидела в шатре, училась паять кастрюли, иногда бралась ковать, помогая ее мужу, искусному кузнецу. Ловко у них выходило вдвоем, когда цыган, разгорячившись, дико блестя глазами, в которых плясал огонь, тяжелым молотом бил по мягкому, озарявшемуся искрами железу, смело выправлял и придавал ему нужную форму, а Касатка,

подбадриваемая его вскриками, смеялась и надавала жару молотком-подголоском, пускала трепетную дробь. В такие минуты все цыгане сбегались к шатру и любовались веселой работой.

Но скоро они уехали от нас с проклятиями, и причиной тому были мы, наши игры. Теплой ночью, при светлой луне, мы так разохотились, настроили себя на бойцовский лад схватками на круче, что кто-то из нас, не выдержав, крикнул:

- Ребя, заряжай самопалы! Аида бить цыган!

- Смерть фашистам! Смерть! - завопили все разом и ринулись через поле к Чичикину кургану, по пути набивая в самодельные стволы порох и мелкое свинцовое крошево, заменявшее дробь. Хотя от макушки кургана ложилась на шатры тень, табор виднелся ясно, и мы, подходя к нему по всем правилам военного искусства скрытным рассыпным строем, видели, что костры едва тлеют: слабые дымки мешаются с волнообразным, зыбким сиянием луны. Тихо. Ни голоса, ни звона наковален.

Фашистские егери спят, не чувят приближения наших осторожных шагов. Мы сегодня расквитаемся с ними за все.

Внезапно мы выскакиваем из-за кургана, прячемся в молодом вишняке – и воздух сотрясается от грохота самопалов. Спросонья егери бегают по табору в нижнем белье, не понимая, что происходит, откуда и почему стреляют, женщины вопят, дети поднимают рев. Но вот кто-то из мужчин выкрикивает громкое ругательство, хватает кувалду и несется прямо на нас, за ним с

вилами и молотками тотчас устремляются другие цыгане.

Опьянение мгновенно исчезает. Радость смелого удара сменяется растерянностью. Егерей нет. Игра прошла.

Это - цыгане. Они бегут и в горячке, взвинченные до предела сумасшедшей стрельбой, не пощадят никого, кто попадется им на вилы или под кувалду. Я выглянул из-за веток и обомлел: тот самый хромой цыган, с которым ковала Касатка, вне себя от ярости, с перекосившимся лицом, держит вилы наперевес и быстро, почти не хромая, приближается ко мне. Я хотел бежать вслед за

другими и не в силах был оторваться от земли, точно непомерная тяжесть навалилась на меня сверху и припаяла к ней. Красавец цыган точно пришел бы меня к земле знобко блеснувшими рожками, если бы не полыхнуло в воздух, прямо перед ним, может быть за десяток шагов от него, сухим выхлестом огня. Это пальнул из кустов Матюша. Цыган взвизгнул и отпрянул в сторону, а я, как бы подброшенный снизу невидимой сильной рукой, вскочил на ноги и - за Матюшей в Касаткин огород.

На другой день цыгане, кровно обиженные коварным налетом, черной неблагодарностью тех, с кем они, бывало, до полуночи гомонили у костров, снялись и, даже не попрощавшись с Касаткой, уехали неизвестно куда.

Касатка долго не могла простить нам этого случая, обижалась:

- Ей-право, наши парубки как сбесились. Это ж надо додуматься стрелять возле шатров. Игру, черти полосатые, нашли. Чи цыгане не люди?

- Жалеешь гостей. Небось цыган чернявый приворожил? – невесело подшучивали над ней женщины. - Он, дьявол, мужик хочь куда. За версту глазищами светит. А борода как у нашего дьячка. Только чернее, вроде ее дегтем вымазали.

Касатка не принимала шуток, говорила серьезно:

- Грех обижать ни за что ни про что людей. Большой грех. За это нам когда-то икнется... Цыгане нам не мешали, жили смирненько. Рази когда подерутся да кусок хлеба попросят. Так это не беда. И у них тоже детишечки, тоже душа не из воздуха, есть просит. Уехали.

Кто теперь нам чашки будет латать? И кузнецы бедовые. Я их думала помаленьку к нашему колхозу привадить. Тот чернявый уже соглашался.

- В колхоз записаться? - не верили ей. - Они ж вольные птицы. Была им охота.

- Значит, была, - горестно вздыхала Касатка. - Таких кузнецов упустили. Любо-дорого

поглядеть. Озолотили бы наш колхоз.

- Как бы последнее не обобрали, - сомневались собеседницы. - Чем же это они озолотили бы нас? Танцульками?

- Красивой работой, - мечтательно отвечала Касатка. - Я бы сама к ним в подручные пошла. А то! Еще бы как тетка бухала кувалдой!.. Спугнули мастеров, выродки. Вы их прижучьте, - советовала она женщинам. - Дальше хуже будет. У меня вон все вишни обчистили.

Не углядишь. Налетают, как саранча.

Мы и верно со скуки наведывались иногда к ней в огород, рвали огурцы, горох, но чаще всего просто лежали под ее вишнями и ели груши и яблоки, наворованные в других, более знаменитых марушанских садах, владельцы которых не отличались особой щедростью, караулили добро по ночам, и все же наши ребята-пастушки умели вовремя трусить их ветки. Если уж речь вести о Касатке, то она напрасно жаловалась на нашу братию: мы как-то относились к ней снисходительно, во всяком случае - не разбойничали в ее огороде, а порою даже оберегали его, если представлялась возможность навеститься в сад какого-нибудь прижимистого дядьки.

Все-таки "прижучить" нас было бы нелишним, хотя бы после той стрельбы. Но и она сошла с рук. Внимательнее, с большим уважением стали мы приглядываться к Матюше. Как он спокойно и рассудительно полыхнул в воздух из самопала перед самым носом цыгана! Не то кому-то из нас пришлось бы туго. После мы узнали, что не один я лежал рядом с Матюшей, а еще несколько ребят. Сначала мы решили, что он выстрелил с перепугу, но Матюша внес ясность:

- Я второй раз перезарядил. Нужно было их остановить.

Перезарядить самопал в такой суматохе, когда мы все оцепенели от страха и не знали, что делать дальше, - это, конечно, удалось, бы не каждому. Вот так Матюша!

Наступила осень. Мы пасли телят на сжатом пшеничном поле, неподалеку от кручи. Половину его вспахали, и так как изо дня в день сеяло, дымилось въедливым мелким дождем, скорее похожим на промозглый туман, в черных разбухших бороздах холодно рябило налившейся мутной водой, наводя на душу смертельную скуку.

Целый день мы носили со скирды солому, жгли ее возле дороги и пекли картошку. Дым сочился вяло, лез по-над землей рыхлыми клубками, пока брошенный пук обсыхал. Когда же солома жарко занималась светлым огнем, который вмиг обволакивал и съедал ее всю, дым на время пропадал. Кожура у картошки подгорала, трескалась и становилась хрупкой, прижаристой, она легко отделялась от обжигающей, вкусно хрустящей на зубах мякоти.

Так мы грелись у костра и лакомились печеной картошкой до темноты. Телята наши разбрелись по стерне, мы наладились заворачивать и гнать их домой, как вдруг далеко-далеко над Учкуркой засиял, забился в сырой тьме, на время исчез и опять проклюнулся крохотный огонек. Мы догадались: ехала машина от "греков" и, наверное, везла брусья либо доски-шелевки с лесозавода.

Не сговариваясь, мы кинулись к шоссе, залегли на откосах кюветов, нагребли по куче камней и притаились, остро переживая неизбежность очередного приключения.

Один Матюша жался в стороне, отойдя от дороги, и ни в какую не хотел ложиться в грязный кювет. Он заранее приготовился удирать первым к Постовой круче, откуда можно было кубарем скатиться вниз и спрятаться в дерезе.

- А если эта машина наша, колхозная? - дрогнувшим тенорком высказал догадку Матюша.

- Не канючь! - оборвали его ребята постарше, наши "цари" и заводилы, которых мы, пузатая мелюзга, откровенно побаивались. - Это чужая полуторка.

Матюша пятился назад и незаметно оказался почти у самой кромки пахоты, едва не слился с ее пугающей чернотой. Его неуверенность навела и на меня оторопь.

По росту и годам я был самым маленьким среди зачинщиков этой истории, и мне тоже надлежало быть осторожным. Я отодвинул от себя камни и крадучись отполз подальше от кювета. Между тем большие ребята лежали невозмутимо, курили и спокойно переговаривались между собой.



- Бить по колесам, - отдавал последние распоряжения Павел Кравец, пятнадцатилетний парубок, самый старший из нас пастух, делавший за деньги самопалы и все еще учившийся в четвертом классе. - Первым кидаю я.

- А по кабинке можно? - шмыгая носом, вполголоса пытал его сосед.

- Нельзя. - Павел сердито чиркал спичкой.

- А по фарам?

- По фарам лупи.

На несколько минут огонек пропал из виду, - пожалуй, машина спустилась в ерок и мчалась возле фермы, - но вот два тонких и ярких лучика выткнулись из тьмы и остро впились в небо, зашарили по нему, медленно понизились и наконец слились в один жгут разраставшегося, быстро летящего к нам сияния - так стелется по небу хвост падающей кометы.

Свет прижал нас к земле, я растерялся и хотел кинуться наутек, но в это время раздался хриплый деланный бас неумолимо-грозного Павла:

- Приготовить гранаты! По "тигру" - огонь!

Не успел я поднять головы под непримиримо бьющим в глаза светом, как град камней сыпанул в машину, застучал по бортам и колесам; лопнула фара, со звоном просыпалось на шоссе стекло, тотчас скрипнули тормоза, а из кузова вырвались женские всполошенные крики.

Машина остановилась, из кабины выпрыгнул шофер с заводной ручкой. Мимо меня пулей просквозил Павел, взброд суматошно забухали во все стороны сапоги, превозмогая страх, я тоже вскочил и, шелестя мокрым брезентовым плащом, во все лопатки дернул к пахоте.

По стерне еще бежалось легко, грязь налипала на подошвы, слоями наворачивалась, подбивала каблуки и тут же отлетала ошметками. Но как только я очутился на пахоте, сразу почувствовал, что выбиваюсь из сил, отстаю от Павла. Мои просторные, с отцовской ноги кирзачи вязли в бороздах, я буквально вырывал их из земли, задыхаясь и путаясь в полах длинного плаща. Между тем все явственнее я различал позади тяжелое дыхание нашего преследователя, топот и плеск его твердых шагов. Он не ругался - бежал напористо, молча, очевидно сберегая дух, и это увеличивало охвативший меня ужас.

Силы мои таяли, сапоги застревали все глубже, ноги в коленях подгибались, а он пер напролом, как танк, сопел и, казалось, вот-вот достанет меня заводною ручкой.

Уже недалеко была Постовая круча, перед глазами маячил балаган, но поздно: он едва не наступал мне на пятки. Я весь внутренне сжался, приготовился к худшему: сейчас он рывком дернет меня за плечо и повалит под себя в грязь...

И он бы, наверное, схватил и прижал меня, если бы не голос Матюши:

- Дяденька, не трогайте его! Он не виноват! Он не кидал!

- А кто? Ты-ы? - взревел шофер и пустился за Матюшей.

Ноги у меня подломились, я ощутил вдруг безразличие ко всему и больше не сделал ни шага, грудью прилег на пахоту, уткнулся лицом в грязь и, подставив одну щеку тонко морозящему дождику, закрыл глаза. Явилась слабая, приведшая меня в умиление мысль: "Вот бы сейчас навсегда уснуть, раствориться в этой грязи и больше ни от кого не убегать, не слышать треска разбитой фары". Но тут же я подумал, что завтра может все перемениться, встанет солнышко, осветит дерезу и речку, мои дружки пойдут в школу, после уроков возьмутся ловить рыбу, а меня не будет. Как же так?

Этого не должно быть. Я не хочу... Разве Касаут будет так же, как и раньше, течь без меня, а Постовая круча останется стоять на том же месте, где и стояла? И ничего с нею не станется?

И мой теленок будет пастись в дерезе?

Жалость к себе и к теленку, ко всему, с чем мне было трудно расстаться, сковала мне сердце, я всхлипнул, пересилил себя и встал, потому что больше не хотел навсегда уснуть и превратиться в такую же грязь, на которой я лежал.

Матюшу подвели штаны. Он не сумел увернуться в них от преследователя и попался ему в лапы. Они долго барахтались на пахоте, пока шофер изловчился и схватил его за воротник

кожушка, поднял на ноги.

- Дяденька, я тоже не кидал! Не бейте меня...

- Ты чей?

- Босов... Не бейте меня, дяденька, - умолял Матюша.

- Отпустите его! - крикнул я издали, выходя на кручу.

- Защитник. Подойди ближе, я посмотрю на тебя, герой!.. Так чей ты, говоришь?

- Босов...

- Сын Василя, что ли? Эй, Дарья! Ступай сюда! Сынок тебя чуть не убил.

- Я ему, бесу лупоглазому, высмыкаю чуб! - пригрозила Дарья, которая вместе с остальными женщинами шла через пахоту. - Я ему напасу телят!

Тем временем ко мне подкрался Павел со своими дружками-одногодками, присел на корточки и весь обратился в слух. Голоса женщин, возбужденные, еще не отошедшие от пережитого испуга, приблизились, и мы стали угадывать по ним, кто сидел в кузове: Елена Бузутова, Касатка, мать Павла...

- Сволочь я... Ох, сволочь! - неожиданно обронил вслух Павел, вытащил из-за пазухи двуствольный самопал, в сердцах постучал им по носку сапога и вдруг швырнул под кручу, в воду. Никто из нас не обернулся на глухой всплеск, никто не пожалел об утонувшем самопале.

С незнакомым холодком в груди, точно истукан, стоял я у края обрыва, наострив слух, и боялся, что сейчас заговорит моя мать; если она там, то должна как-нибудь напомнить о себе, однако среди толков и шума голоса ее не доносилось, и я немного успокоился, моля судьбу, что мать не ехала в кузове этой полуторки, атакованной нами из кюветов. Другие ребята никли, угадывая своих матерей. Такого еще никогда с нами не было. В кого мы бросали камни?!

- На фронте, елки-палки, фрицы меня не убили, а тут чуть богу душу не отдал. Ни за что ни про что, - горячо и сердито выговаривал шофер. - Гольш просвистел возле виска. Надо же! Свои... щенята чуть не прикончили!

- Пустите, бабы. Дайте-ка я своему пащенку ухи нарву! - неистовствовала Дарья. - Ах ты, бесстыжие твои глаза! Так ты пасешь бычка?

- Я не кидал! - обиженно всхлипывая, твердил Матюша.

Дарья распалялась не на шутку:

- Что ж ты творишь, ирод? Вот я тебе напасу! Я тебе напасу! Ох, горюшко горькое... Навязала себе на шею хомут.

Кажется, мачеха уже добралась до Матюши, но в это время мужским баском ее живо одернула Касатка:

- А ну, Дашка, отчепись от греха! Сперва роди, потом хватай за волоса. Матюша хлопец смиренныйкий.

Вишь, плачет. Значит, не он... Ты не кидал, Матюша? - Голос у Касатки взволнованный, проникновенно-участливый. - Признайся, тебя никто не тронет. Я не дам.

- Не-е... Большие ребята.

- Вот, Дашка, сперва разберись. Большие ребята кидали, слышишь? Ей-право, ты какая-то бешеная. Пожалела б хлопчика.

- Будешь бешеная с такой оравой!

- Терпи, милая. Бог терпел и нам велел, - поучала ее Касатка. - Я вон шишку на затылке схлопотала, да и то молчу. Что ж, не повесишь же их на сухой ветке. Терпи. Усмирай лаской.

Тут она, видимо, пригляделась к нам сквозь сырую, загустевшую мглу:

- Эй, кто там мельтешит на круче? Выходи, если вы такие смелые. Умели бедокурить, умеете и отвечать.

Фронтоника чуть не положили, изверги.

Никто из нас не отозвался на ее голос, не двинулся с места.

- Э, да я вижу, вы робкого десятка. Пойдемте, бабы. Они, видать, на этой круче знают с чертями, вот и буянят.

Женщины поругали нас, пошумели и подались назад к машине, которая неприкаянно чернела на дороге и далеко пробивала тьму неподвижным лучом желтой фары.

Матюша тоже поплелся за ними. А мы остались с Павлом на круче.

- Стыдно, - сказал он. - Нехорошо, братва, получилось.

С этой ночи наши жестокие игры прекратились. Както у всех разом отпала к ним охота. Но приключение на этом не кончилось. Опасаясь взбучки родителей, Павел решил заночевать на мельнице, человек пять из солидарности присоединились к нему, с ними увязался и я, с гулко забившимся сердцем предчувствуя новизну ожидающих нас впечатлений.

Мельница стояла у бугра, неподалеку от огорода Павла. Сейчас она не молола, вода облегченно шумела и бормотала под открытым шлюзом, а на толстой дубовой двери темнел амбарный замок.

Павел приставил к стене доску, по-хозяйски взобрался на крышу, отсоединил на углу дранку и юркнул в черную дыру. Мы тоже полезли.

Павел зажег фонарь, висевший над жерновами. Свет выхватил из сумрака припорошенные мучною пылью стены, гусиное крылышко за стропилом, цибарку с отрубями и расстеленные на полу шубы - сивую и белую; на них спал мельник Сагайдак, когда ему мерещились воры и он оставался караулить добро.

В кожаной сумке нашлись неначатые пышки с тонко порезанным куском сала, мы жадно набросились на еду, разделили ее поровну и съели. Жить стало веселее.

С удвоенным любопытством мы шарили по мельнице, заглядывали в каждый угол, и любая обнаруженная нами мелочь, будь то зубило или молоток, приводила нас в ликование. "Братва! Инструменты не трогать, - предупреждал Павел. - Голову оторву". Мы с болью и сожалением возвращали на место найденные сокровища. В жестяных емкостях над жерновами осталось по пуду сморщенного пшеничного зерна, Павел надумал нас поразвлечь, вылез наружу и крикнул оттуда, чтобы мы не подходили к камням: может захватить одежду.

На валу пруда скрипуче, жалобно взвизгнула вертушка затвора, звякнула цепь, и мы с непередаваемым восторгом услышали хлесткий разбег пущенной в лоток воды. Тотчас колесо под дощатым полом провернулось, дернулось, лопасти напряженно фыркнули - и вся мельница вздрогнула от ожившего на наших глазах жернова, пошла колотиться как в лихорадке, зудеть под ногами.

Жернов уже всюю расхотился, насечки на нем слились в серый волнистый круг, мука теплой струйкой потекла по желобку в холщовый рукав приемника, и отруби коричневой шелухой полезли своим путем, как Павел, угождая нам, дал выиграться другому колесу. Соседний жернов тоже понесся вскачь, деревянная колотушка на нем взбрыкивала, выбивала лихого казачка.

Мы тоже бегали, подскакивали у жерновов, плясали кто во что горазд и во всю глотку орали марушанские песни, забыв про осторожность, про недавнюю нашу беду:

Сагайдак наш, Сагайдак,  
Что ж ты мелешь, да не так!

Жернова всухую трутся - Черти над тобой смеются!

Но тут Павел опустил затворы, влез к нам, потушил фонарь и мрачно сказал:

- Чего раскукарекались? Забыли обо всем?

Спать! - И первым лег на середину шубы.

Ни свет ни заря мы проснулись, оглохшие от шума воды, до дрожи озябшие, с посинелыми губами, вылезли, заделали дырку на крыше и, разгоня кровь, побежали на Постовую кручу. После обеда к нам явился Матюша, грустный, с буханкою кукурузного хлеба под мышкой.

Мы тут же умяли хлеб, а Матюша рассказал, что телят наших загнал на колхозный баз

объездчик Крым-Гирей и требует штраф за потраву озими; родители сильно ругаются, ищут и грозятся выпороть нас за все проделки одним махом, и в школе недовольны нами, так что показываться в хуторе рискованно. Ему тоже досталось на орехи от Дарьи, и он сбежал из дому.

В поле мы накопили картошки и, подавленные невзгодами, побрели в лес. Погода налаживалась, волглые тучи еще утром отогнало к вершинам, они подержались там до обеда и растаяли, оставив после себя мягкую, промытую синь; солнце теперь беспрепятственно катилось по небу и сияло по-новому - молодо, ясно. Видно, после дождя брало верх бабье лето. Не сегодня-завтра вывяжет оно прозрачную, легкую, как дым, паутину, раскинет ее по свежей отаве, по кустам покрасневшего плодами шиповника и золотистым метелкам свечек, светло оплетет колючие кудри дерезы и нет-нет да и сверкнет на диво человеку плывущей в воздухе серебристой ниткой, поманит куда-то вдаль... Какая бы тяжесть ни лежала у меня на сердце, а все-таки солнечный денек веселил; пестрые осенние кроны и удивленно проглядывающие сквозь ветки огненные сгустки калины, даже лесной ручей, мимо которого мы шли, усыпанный желтыми кленовыми листьями и едва приметный, - все говорило о возможности счастья, все дышало новизной и призывало к чему-то. В этом лесу хотелось жить светло, и было странно и непонятно, что только вчера преследовала меня неумолимая тень страха, только вчера я испытывал лишь одно желание - умереть на пахоте.

Приободрились и мои товарищи по несчастью. Мы наелись ежевики, обильно синевшей в зарослях, насобирали лежалых груш, испекли на поляне картошки, а затем напялили балаган, натаскали в него сена из копны, кем-то сметанной вблизи ручья и замаскированной валежником.

Ночью я спал тревожно; все мнилось: волк бродит, кружит возле балагана, выслеживает, с какой стороны подкрасться. Ветка шелохнется, треснет вверху, а я уж думаю: это рысь залезла на макушку вербы, притаилась и тоже дожидается своего часа. Перед утром, в кромешной тьме, гукал филин, и я лежал с открытыми глазами, прислушивался, когда он угомонится, проклятый, и чувствовал, что и другие не смыкают глаз, тоже знобит их, только никто не хочет признаться в страхе, все молчат и ворочаются в сене, томясь бессонницей.

Зато утром мы разлеглись, распластались на солнышке как убитые. На третий день мы приступили к резке прутьев, стали вить из них на больших раскидистых вербах гнезда, подобно сорочиным. Все-таки ночевать в них, высоко над землей, не так страшно, хотя, пожалуй, холоднее.

За этими приготовлениями к поднебесной жизни и застала нас Касатка. Переваливаясь с боку на бок, она медленно двигалась по лесной дороге, держа на плече коромысло с огромными пучками наломанной калины. Из поддетого в поясе запана выглядывала довольно внушительная краюха

кукурузного чурека. Увидев ее, мы было кинулись врассыпную, но скоро сообразили, что это ни к чему, все равно тайна наша разгадана.

- Ух ты! Чижолая. На всю зиму наломала тетка калинки. Пироги с нею буду печь. Обьедење! - ни к кому не обращаясь, произнесла она вслух, осторожно приняла с плеча коромысло и опустила калину в траву. - Хочь передохну, душа колотится.

За нею водилась странность - иногда беседовать наедине с собою, и поэтому, выглядывая из-за веток, мы было уже засомневались, видела Касатка нас или нет, но тут она выпрямилась, обвела кусты и деревья насмешливым взором синих немигающих глаз, подняла их кверху и всплеснула руками:

- Батюшки мои, да тут у вас прямо рай. С божьими птичками спелись. Сорочат не вывели?

Вслед за этим она обобрала с подола своей заплатанной полотняной юбки прилепившиеся коричневые семена череды, села на прошлогоднюю муравьиную кочку и с выражением блаженства и покоя на лице протянула ноги, обутые в калоши. Безобманным мальчишеским чутьем мы угадали ее добродушно-снисходительное расположение к нам, выступили на поляну и стали перед нею в несколько виноватых позах. Она развязала узел запана - и что за чудо: сколько было в нем еды, от одного вида которой у нас потекли слюнки во рту!

Малосольные, с пупырышками, огурцы, завернутые в лист лопуха пирожки с капустой, вареники в глиняной махотке! И вареная картошка, обжаренная с постным маслом, и даже мелко истолченная соль в

бумажке... При этом изобилии невероятных лакомств, как по волшебству явившихся перед нами, я, помнится, до тошноты, до озноба испытал приступ настоящего голода, голова у меня закружилась, тело проняло дрожью, и я едва удержался на ногах, едва устоял, пока она расстелила на траве снятый запан, разложила на нем еду и разломала на равные куски хлеб.

- Сидайте, хлопчики, ешьте!

Мы накиннулись на вареники и вмиг опорожнили махотку. Более ухватистые ребята оттеснили нерасторопного Матюшу, затолкали локтями, она заметила это, потянула его за рукав и усадила рядом с собою, сама выбрала ему пирожок и потрепала мягкие, как пух одуванчика, волосы:

- Матюша, тебя не обижают тут? Ты им не поддавайся. Ты же у нас вон какой герой, в мать. Она двух мужиков боролась... Бледненький. Не простудился? Тут у вас сквозняки кругом, от ручья небось жучит по утрам.

- А мы в сено кутаемся, - уминая за обе щеки пирожок, простодушно отвечал Матюша.

- Сено вас не спасет. Морозы жажнут, что станете делать? Куда подадитесь? Да, хлопцы. Плохие ваши дела. Нашкодили и в кусты. Родители с ног сбиваются, ищут вас. Домой не надумали ворочаться?

- Не-е, была охота!

- Трепки боитесь? Так вы ж, ей-право, вынуждаете их. Вот у меня до се от вашего приветика шишка не спала.

Пощупай, Матюша. - Она стянула с головы косынку, наклонилась к нему. - Да не там ты водишь пальцами. Поближе к затылку веди. Вот тут. Ну?

- Ага, большая, - подтвердил Матюша.

- А вы все думаете, что тетка брешет. - Касатка потуже собрала в узел русые волосы и покрылась косынкою. - Я никогда напрасного слова не скажу.

Зачем?

Брехать и без меня есть мастера. Болит, вражина, до се.

По ночам отдаст, стреляет в ухо. Влепили тетке гостинец, чтоб помнила, дура, как на полупанках ездить.

Нам сделалось не по себе, мы разом перестали есть.

- Да вы не стесняйтесь, чего уж там, - сказала она. - Ешьте. Заживет, как на собаке. Я битая. Какнибудь перетерплю.

- Теть, мы больше не будем, - сказал Павел.

- Да я вижу, что не будете. Люди, хлопчики, один раз на белый свет рождаются, их жалеть надо. Вот был у меня муж Миша, Михаил Игнатович. Убили его на войне. Убили, и где я себе такого другого хорошего человека найду? - Касатка запнулась, вытерла пальцами повлажневшие глаза. - Нигде. Одна теперь кукую. Калину нонче ломаю, размечталась и думаю: кабы Миша вернулся, пришел на Касаут, вдвоем бы ее ломали. Не два пучка, а сразу четыре домой бы поволокли. Веселей бы шлось по камушкам... А вы калинку не трогаете? Подольстились бы, матерям принесли. Вертайтесь, хлопчики. Хватит вам бирюками рыскать.

- Дома нас прибудут, - сказал Павел.

- Не прибудут. Вы пообещайте, что больше не будете хулиганить. Я им передам. - Касатка оглядела нас, всех до одного, и таинственно, хитро подмигнула: - Я такое словечко замолвлю за вас, что они вмиг покорятся.

Мы дали обещание, и она сказала:

- Завтра я наведаюсь к вам с донесением. Вы не переживайте, тетка вас не выдаст.

- А если они обдурят... начнут пороть? - сомневался Павел.

- Тогда грець с ними! - весело объявила Касатка. - Бросим их. И я с вами подамся в лес, хочь побродяжничаю. Буду у вас за атаманшу. Правда что, с меня может выйти бедовая атаманша! Только раззадорь тетку – она покажет, на чем орехи растут. - Касатка, задорно

сияя молодыми, чистыми глазами, подхихикнула в кулак.

Между тем мы управились с едою, и она, поднявшись с размятой кочки, отряхнула от крошек запан, подпоясалась им, сходила к ручью и вымыла махотку. Нам было жаль прощаться с нею. Павел услужливо подал ей коромысло с пучками калины, наивно восхитился:

- Теть, а вы помногу едите! Сколько всякой всячины наготовили себе.

- Ого, хлопцы! Меня прокормить трудно. Я буду прожорливой атаманшей.

Мы искренне поверили ей и засмеялись. Лишь много позднее дошло до меня, что Касатка, отправляясь в лес за калиной, надеялась встретиться с нами и наготовила еды для нас. Но тогда мы не догадались об этом. Ее появление возле нашего гнездовья с щедрым узлом казалось нам простой случайностью. На другой день она пришла и объявила, что родители прощают нам все грехи и пальцем нас не тронут, если мы к вечеру вернемся в хутор. Мы вовремя покончили с лесным бродяжничеством, потому что предутренние холода и постоянное ощущение голода изнурили нас, и мы чувствовали себя не вполне здоровыми. Мне и до сих пор неизвестно, как вела переговоры Касатка с родителями, что она говорила им, но никто из них не взялся за хворостину при нашем постыдном возвращении в хутор, никто не отругал нас как следует в тот скорбный вечер, даже скорая на расправу Дарья удержалась от соблазна.

...Далекие и зыбкие, как сон, дни. Неужели они были?

Был я, хлопец с вечными цыпками на ногах, стрелявший из самопала? Был Матюша в рваном кожушке, в брюках из шинельного сукна и в пилотке с рубиновой звездочкой?.. И вправду ли была грязь, тяжкая, непролазная и бесконечная грязь, по которой мы бежали вслепую, бежали изо всех сил, объятые недетским смертным страхом и уже, казалось, потерявшие всякую надежду выдраться, выбиться из ее всасывающей, вязкой и черной, как мгла, плоти?!

Я стоял на круче, глядел на Касатку и думал: что за дивная, неразгаданная сила уберегла нас, избавила от дурных привычек, осветлила сердца и отправила в мир на поиски счастья? Бесшабашного, казалось, никчемного Павла она сделала судовым механиком, известным на всей Балтике, Матюшу - председателем колхоза, другого посадила за штурвал сверхзвукового реактивного самолета и круто вывела в небо, из этого сотворила доброго плотника, да в придачу, чтоб ему не скучно тесалось и строгалось, облепила его толпою наследников. И опять в мыслях возникала Касатка в своем убогом наряде, в калошах на босу ногу; не спеша она расстилала запан по траве и мягко, трогательно, как не говорит ныне никто из молодых женщин, приглашала: "Сидайте, хлопчики.

Ешьте!"

Может быть, она и была частицей той животворной, осветляющей, спасительной силы.